

антиутопия

ИНДЕКС У3

каждый стон учтён

Юрий Буреве

Jake Desire

СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

18+

Юрий Буреве

Индекс Y3

«Автор»
2026

Буреве Ю.

Индекс Y3 / Ю. Буреве — «Автор», 2026

2047 год. Любовь измеряется в баллах. Индекс интимной связности Y3 решает, дадут ли паре квартиру, повышение и даже продукты в магазине. У Сони и Глеба — тридцать один, и система называет их «холодными».Выход один: сеансы синхронистки Марты — женщины с лучшим показателем в городе и памятью, которую она сама попросила стереть.А тем временем аудитор Арсений ловит пары, подделывающие тепло, и постепенно понимает: есть то, что браслет не прочтёт никогда.Антиутопия о мире, где нежность стала отчётностью, а настоящее — нарушением протокола.

© Буреве Ю., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог 5
Глава 1. Соня 7
Глава 2. Арсений 11
Глава 3. Марта 16
Глава 4. Соня 20
Глава 5. Марта 26
Глава 6. Арсений 30
Глава 7. Соня 34
Конец ознакомительного фрагмента. 37

Юрий Буреве, Jake Desire
Индекс Y3

Пролог

Фрагмент служебного классификатора Департамента верификации. Утёк в сеть 03.11.2047, оригинал не установлен, копии удаляются в течение четырёх часов. Приводится по третьей перепечатке.

РЕЕСТР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИЧНОСТИ. ВЫПИСКА, РЕДАКЦИЯ 12-Я

A1 — телесная ресурсность — открыт. A4 — закрыто. B2 — когнитивная плотность — открыт. B8 — закрыто. C7 — структура потребления — открыт. E1 — эмоциональная амплитуда — открыт. E9 — закрыто. N2 — закрыто. Y1 — социальные связи — открыт. Y3 — интимная связность — публичный доступ. Z1 — закрыто. Z2 — закрыто. Существование не подтверждено. Z3 — закрыто.

Свет пробивался сквозь щель жалюзи узкой полосой и лежал поперёк одеяла натянутой струной. Марта не двигалась. Рядом дышал клиент — глубоко, ровно, с чуть слышным присвистом на вдохе, — и она слушала его так, как когда-то слушала партнёра перед выходом в паре: сначала грудную клетку, потом плечи, потом, с задержкой в полтакта, длинные мышцы спины.

Он спал на животе, отвернувшись к стене, и одна его рука, тяжёлая и доверчивая, лежала поперёк её талии. Молодой. Спина гладкая, лопатки как два сложенных крыла, у позвоночника между ними — ямочка, в которой утро собрало всю тень комнаты. Ниже поясницы спина расходилась мягкими плоскостями, и сбоку, там, где простыня сползла, свет рисовал выпуклость ягодицы тёплым охристым штрихом. Красивое тело. Честно построенное, без выкрутасов — такое не сопротивляется ведению.

Марта смотрела на него и ждала, что внутри что-нибудь отзовётся. Что-нибудь всегда отзывается, если знать, где искать: у плеча, у сгиба локтя, под рёбрами, где живёт то, что в протоколах называется речевой теплотой. Она знала все места. Они не отзывались.

Вместо них отозвался браслет.

Зелёная капля на его запястье набухла и мигнула — негромко, деликатно, как мигает ночник. На маленьком экране развернулась строка:

Y3: +14. Отличная синхрония!

Восклицательный знак система ставила честно: она была довольна. Восемь часов двенадцать минут совместного сна, пульсы в разрешённом коридоре расходимости, окситоциновый след в пределах нормы. Пара «клиент — консультант» отработала на отлично, и где-то там, наверху, в чужом утре, уже пересчитывали проценты.

Он зашевелился во сне — приподнял голову, повёл плечом, и плечо его на секунду коснулось её ключицы: горячее, живое, со следом вчерашнего виски. Кожа под этим прикосновением сделала ровно то, что положено: мельчайшая дрожь, выброс тепла, знакомая полнота под ложечкой. Марта почувствовала это телом — отделила, разложила на составляющие и отпустила, как отпускают счёт в бальной связке: раз-два-три, вес переносится, корпус следует.

Ничего. Внутри было чисто, как в операционной до первого пациента.

«Хорошая работа», —сказал бы кто-нибудь. Она бы согласилась.

Браслет мигнул второй раз. Ниже строки о синхронии, прижавшись к ней серым, мелким шрифтом, проявилась ещё одна:

N2 — данные недоступны для просмотра.

Она прочла её без всякого интереса — так читают строку в спаме. Служебное. Не её уровень доступа. Серый шрифт висел над костяшками его пальцев на её талии секунды полторы.

И исчез.

Не мигнул, не свернулся — просто перестал быть, как будто строка и не писалась. На экране остались бодрый восклицательный знак и честные четырнадцать баллов. Марта взглядом провожала место, где была строка, — не потому, что ей было важно, а потому, что глаз цепляется за исчезающее раньше, чем голова успевает решить, стоит ли цепляться.

Вот и всё, сказала она себе. Данные недоступны. Хорошо, что и не нужны.

Часы показывали 6:47. До его будильника двадцать шесть минут — ровно на душ, стакан воды и холодное, отрепетированное «спасибо, мне пора» с той единственной теплотой — ровно на градус выше служебной, — за которую клиенты оставляли пять звёзд и не спрашивали имени. Она уже видела этот утренний ритуал целиком, как видела партию перед выходом: каждый шаг, каждый наклон, где улыбка, где пауза.

Мужчина вздохнул и во сне прижался к ней спиной — машинально, всем телом сразу, без всякого расчёта. Тёплый. Тяжёлый. Живой.

Y3: +15. Отличная синхрония!

Пятнадцать. Она почти улыбнулась: система не пропускала ни движения. Вот к чему прилагается слово «любовь» в этом году — к числу с восклицательным знаком и к приветливому миганию капли.

А то, что проснулось на секунду под её рёбрами, когда он прижался, — безымянное, без кода и без процента, — так и осталось не прошедшим верификацию. Серой строкой, которой нет.

Глава 1. Соня

Отказ пришёл в среду, в 12:04, пока Соня стягивала с пианино чехол у одинокой старухи на Бауманской.

Уведомление светилось сквозь замшу перчатки — Соня почувствовала его как толчок в запястье, короткий, деловой, как будто кто-то постучал костяшкой изнутри. Она не стала читать сразу. Сначала доиграла до конца: педаль вверх, последняя нота — ля второй октавы — повисла и угасла сама, без обрыва. Старуха смотрела в окно и ждала, что инструмент теперь будет звучать.

— Готово, — сказала Соня. — Полтора года не настраивали, а он держит строй. Вам повезло с мастером, который его делал.

— А что мне с ним делать, милая? Мне больше некому его слушать.

Соня не нашлась, что ответить. Взрослые люди, старше тридцати, в её присутствии часто говорили что-нибудь эдакое — про то, что никому не нужно, что никого не осталось, — и ждали не жалости, а подтверждения, что это ещё считается нормальным.

В лифте она сняла перчатку и прочитала уведомление.

КВОТИРОВАНИЕ ПО ЛИНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЁМ. РЕШЕНИЕ: ОТКАЗ.

Причина: профиль пары P1-P2 классифицирован как «холодный». Индекс интимной связности Y3: 31. Порог для нечередующейся очереди: 55.

Срок следующего пересмотра: 6 месяцев.

Кабинет двадцать второй, Соня вела очередь с двадцать первого года. Полтора года — не срок. Полтора года они с Глебом экономили, откладывали, копили стаж и делали вид, что очередь — это честно, как в прошлые времена: сначала вставай, потом получай. А оказалось, что очередь теперь не про очередь. Она про то, насколько хорошо ты дрожишь рядом с человеком, с которым живёшь.

Тридцать один.

Соня смотрела на число, и оно ничем не выдавало себя. Не мигало красным, не звучало сиреной. Просто цифра. Так писали температуру больного, вес мешка, количество тёмного пива в холодильнике. Тридцать один, и все, кто это читал, — очередь, машина, соседка, — теперь знали про их спальню то, чего не знала даже её мать.

Старуха крикнула вслед — вниз, в лифт:

— Что-то не так, милая?

— Нет, — Соня спрятала перчатку в карман. — Всё в порядке.

Тридцать один.

Она думала об этом всю дорогу до магазина. Тридцать один — это как расстроенный на четверть тона инструмент: играть можно, если никого рядом. Для публики нельзя.

В магазине у дома она взяла молоко, ржаной хлеб, пачку кофе — обычного, зернового, не премиум, — и положила на сканер браслетом. Экран кассы мигнул жёлтым.

Недостаточно баллов. Баланс: 12. Стоимость корзины: 15,4.

Кассовый ИИ был вежлив, как медсестра.

— Рекомендуем убрать позицию «кофе зерновой, 250 г» и вернуться к оплате. Или воспользоваться рассрочкой «Тёплый месяц» по льготной ставке.

Соня убрала кофе. Поставила его обратно на полку, аккуратно, этикеткой к себе, как будто кофе был живой и ему было стыдно. За спиной стояла женщина с ребёнком и ждала. Соня почувствовала, как раскраснелись у неё уши — не от жары, от того, что её отсутствие баллов видели. Не Индекс, не браслет. Свидетели.

Дома она поставила молоко в холодильник. Хлеб не убрала: положила на стол, на середину, чтобы было видно, что это не забыли, а нарочно. Глеб в этот вечер вернулся позже обыч-

ного — после девяти, в мокром плаще, промёрзший, с плечами, поднятыми к ушам. На стройке у него где-то была авария, старая труба в южном канале; он звонил не об этом — он звонил спросить, есть ли дома хлеб.

— Есть, — сказала Соня. — И молоко. И кофе нет.

— Значит, вода, — сказал Глеб и улыбнулся криво. — Как в экспедиции.

Он часто сравнивал их жизнь с экспедициями. Соня не могла понять, делал ли он это, чтобы её успокоить, или потому, что правда считал их жизнь выживанием. Она выбирала первое, потому что второе было слишком похоже на правду.

Они пили тёплую воду, потому что электричество тоже стоило. Глеб ел хлеб без масла, большими кусками, смотрел в стол. Соня смотрела на его руки — узкие, с длинными пальцами, с мозолью от лома на правом большом, — и думала, что знает эти руки лучше, чем собственный инструментарий. Каждый палец. Каждую тень. Каждую трещину.

А потом подумала, что, наверное, тридцать один — это нормально для того, что они делали. Для того, как они молчали за столом. Для того, как он вечером крался на кухню, чтобы не разбудить её, и ставил чайник не в ту сторону, к стене, чтобы не звенел. Они не обнимались на публике. Они не публиковали совместные фото. Они не умели красиво ссориться — ссоры у них были тихие и длинные, как плохие переводы, и заканчивались не примирением, а усталостью.

Индекс не видел того, что видела Соня: как Глеб, когда думал, что она спит, подходил к окну и стоял там, прислонившись лбом к стеклу, и смотрел вниз, туда, где она утром уходила на работу. Индекс не измерял, как он каждое утро кладёт её тапочки ближе к батарее — чтобы к её возвращению они были тёплые. Это не зафиксировать. У этого не было сигнатуры.

Ночью Соня проснулась от холода. Батарея гудела слабо, окно потело изнутри, за стеклом был ноябрь. Она сдвинула одеяло на Глеба, потому что у него мёрзли плечи, а у неё — нет. Он во сне нащупал её локоть и притянул к себе — неловко, не глядя, как человек хватается за перила в темноте. Соня уткнулась лицом ему в ключицу и слушала, как бьётся сердце под костяшками.

— Ты меня любишь? — спросила она тихо. Не потому, что не знала ответа. Потому, что хотела услышать, как он его скажет.

Глеб замолчал. Секунды на три. Соня знала, что эти три секунды стоят ей дороже, чем вся пачка кофе в магазине.

— Да, — сказал он, наконец. — Ты же знаешь.

— Знаю, — сказала Соня. — Скажи ещё.

И он сказал ещё. И был прав, и голос был настоящий, с той самой хрипотцой, которая у него была только по-настоящему — не на работе, не по телефону, а вот так, в темноте, когда слов немного и они дешёвые, потому что сказать их ничего не стоит, если они правда.

Это был акт нелепости, который обоим нравился.

Не как в рекламе и не как в обучающих модулях, которые система присылала в личный кабинет с пометкой «рекомендовано к просмотру для пар с низким Y3». Не по схеме. Он искал её рот и промахивался — в первый раз, потому что темнота, — и они засмеялись: она первая, он потом. Он трогал её слишком сильно, потом слишком слабо, и Соня говорила: «чуть выше», «не туда», «вот так», и он слушал её руки, не её слова, потому что всегда так делал — считывал не звук, а движение. У неё дрожали бёдра не от удовольствия, а от холода, и он заметил это, остановился, потянул край одеяла на неё, не вынимая руки, — и эта мелочь, этот жест, этот абсурдный приоритет — сначала одеяло, потом она, — звучали в Соне громче всего.

Она чувствовала его неровность. Как у рояля, который не настраивали: одна клавиша берёт раньше, другая позже, звук гуляет. Неправильный темп, перепады, рваный ритм. По всем правилам наладки это был брак.

Соня любила такие инструменты. Она сама говорила клиентам: доиграйте, не трогайте, пусть живёт.

Под ними, внизу, на экране браслета, что-то считалось. Соня не смотрела. Она не смотрела на браслеты никогда — специально, как люди не смотрят на индикатор будильника, когда он ещё не зазвонил.

Утром, пока Глеб умывался, она всё-таки посмотрела.

Y3: −3. Причина: асимметрия.

Рекомендация: рассмотреть сеанс синхрониста по льготной программе «Второй шанс».

Асимметрия.

Соня стояла в узкой прихожей, держала зубную щётку, и слово «асимметрия» ходило по ней, как холод по трубам. Он вошёл в неё иначе, чем она в него. Он дышал не в такт. Он кончил первым и не заметил, а она догоняла сама, тихо, не выдавая, потому что если бы выдала — это бы посчитали за «симуляцию», а за симуляцию раньше штрафовали.

Это называется асимметрией. Тридцать один.

У них тридцать один, потому что она любила его не по модулю. Потому что у них был разный ритм. Потому что Глеб отворачивался к стене, чтобы не разбудить, и оставлял тапочки у батареи.

Соня положила зубную щётку на стакан. Слишком аккуратно, как кофе на полку. Посмотрела на своё отражение в тёмном окне — бледная, тридцать три, с мешками от недосыпа, в его старой футболке — и подумала, что если бы она сейчас увидела это число на чужой паре, она бы подумала: «какие у них холодные отношения».

Так это и работает. Так это и задумано.

На лестнице, на четвёртом этаже, она встретила Фёдора Ильича из пятьдесят первой квартиры. Он стоял у перил, опираясь на них, и что-то считал на пальцах. Губы шевелились.

— Доброе утро, — сказала Соня.

— А, Сонечка, — он поднял голову. Лицо серое, но глаза живые, голос почему-то почти мальчишеский. — Доброе. Ты не подскажешь, сколько сейчас стоит овсяная каша в пунктах? Я вчера в справочнике смотрел, а там старая цена, за прошлый квартал. И то масло у них, я уж не говорю. Растительное. Что за масло такое, растительное?

— Овсяная — шесть баллов за пачку, — сказала Соня. — Я брала на прошлой неделе.

— Шесть, — повторил Фёдор Ильич. — Шесть. Хорошо. Значит, если паёк девяносто, и хлеб четыре, и молоко пять, и чай два, то на кашу остаётся… — он снова зашевелил пальцами. — А я ещё хочу на концерт. В филармонии, по вторникам, бесплатно, если рейтинг не ниже сорока. У меня сорок один. Но с прошлого месяца не хватает: у меня восемьдесят два, а надо девяносто. И всё время что-то подорожало, и никогда не знаешь заранее, потому что справочник врёт.

Он улыбнулся ей. Извиняющимся, стариковским, чуть виноватым, что занимает её время своей арифметикой.

— Лидочка моя любила Шостаковича, — сказал он. — Пятую симфонию. Я всё думаю: пойду в этот вторник, послушаю. Как будто она рядом стоит. Ты не знаешь, сколько сейчас стоит такси до филармонии? А то пешком, с моими ногами, я до туда дойду к антракту.

— Такси не нужно, — сказала Соня. — Метро дешевле. Или на сорок первом, если пересесть на красной линии.

— Сорок один, — снова повторил Фёдор Ильич, но уже о браслете. — Сорок один, и всё время съедает. Я не понимаю, на что. Я же один. Один человек — какие с него начисления? Я никого не трогаю.

Соня открыла рот, чтобы ответить, и не нашла, что.

— Всё, иду, — сказал он. — Не задерживаю. Ты на работу? Иди, иди, я тебе не помеха. Я просто стою. Люблю тут стоять, у окна. Свет тут хороший.

Он стоял на лестничной клетке четвёртого этажа, в свете окна, и считал на пальцах. Семьдесят один год. Тринадцать лет вдовец. Паёк — восемьдесят два балла, потому что у одиноких вычет за «отсутствие совместного потребления». Сорок один Y3 — проходной, чтобы в филармонию, но каждый месяц что-то съедало, что-то списывалось, и было непонятно что.

Соня вышла на улицу. Воздух был холодный, пахло снегом и выхлопом, не работала вывеска булочной напротив. У подъезда, на стене, мигал городской экран: улыбающийся мужчина средних лет обнимал улыбающуюся женщину средних лет, внизу бежала строка:

«В этом месяце 14 392 пары улучшили свой Индекс социального тепла. Твой шаг к теплу — сегодня. Запишись на консультацию к сертифицированному синхронисту».

Мужчина на экране держал женщину так, как не держит никто: идеально, без промаха, с точностью до миллиметра. У них были красивые, одинакового темпа движения. Они дышали в такт. Они были настроены, как дорогой рояль перед концертом, и Соня, струнная насквозь, смотрела на них и понимала, что это и есть норма. А то, что у неё с Глебом в темноте, где он промахивался мимо рта и тянул одеяло, не вынимая руки, — это асимметрия. Минус три.

Она пошла на работу, к своим расстроенным инструментам, и всю дорогу, до самой Бауманской, слушала в голове их ночной ритм — рваный, неправильный, живой.

И не могла перестать считать баллы за Фёдора Ильича.

Глава 2. Арсений

Аудиозапись № 4871-С начиналась с тишины. Не с пустой тишины, а с той, слышимой — с фоном: в квартире что-то гудело, холодильник, вода в трубах, город за окном. Потом дыхание. Потом стон.

Арсений слушал в третий раз. Стон был хороший. Выразительный, нарастающий, с правильной точкой пика и правильным угасанием, как в учебном материале по синхронии. Слишком правильный. Арсений пометил таймкод 04:12: там, где у живого человека дыхание срывается с ритма, у этой записи оно срывалось на полсекунды позже — каждый раз, все шесть сессий подряд, с точностью до сотой.

Живое так не повторяется. Живое врёт каждый раз по-новому.

Он откинулся на спинку кресла и посмотрел на два профиля, открытых рядом: Кирилл Носов, тридцать один год, дизайнер интерфейсов. Жанна Носова, двадцать девять, — корректировщица нейросетевых текстов. Тёплый контракт, второй год. Y3 пары — девяносто четыре. Месяц назад было восемьдесят один. Прирост — тринадцать пунктов за четыре недели, ровный, как забор: плюс один, плюс один, плюс два, плюс три…

Арсений смотрел на эту колонку и чувствовал то, что чувствовал всегда перед таким делом, — не гнев, а досаду. Как будто нашёл в дорогом механизме подложенную подшипниковую обойму. Обидно не за государство. Обидно за аккуратность: столько труда — и всё потрачено на подделку.

Фальсификация биометрических данных — статья отдельная. Не как тёплый контракт, не как окситоцин из-под полы. Статья была про подмену: когда человек продаёт системе не своё тело, а копию чужого. Санкции — до шести лет. Арсений читал приговоры и всегда останавливался на одном и том же месте: не на сроке, а на формулировке. «Обман системы социальной теплоты». Хорошая формулировка. Честная. Она не называла преступлением желание, она называла преступлением обман. Желание — это биология, биологию не судят. Судят за то, что ты дал системе читать не себя.

Он заказал выезд на девять утра.

Кирилл Носов открыл дверь сам, в домашних шерстяных носках, и мгновенно стал белым — не от вины, Арсений отметил это профессионально, а от того, что понял всё сразу. Такие люди всегда понимают всё сразу: те, кто живёт аккуратно, слышат стук в дверь в девять утра и уже знают, что это не сантехник.

— Кирилл Андреевич? — спросил Арсений. — Старший аудитор Вальк. Департамент верификации.

Носов кивнул. Рука, державшая дверную ручку, дёрнулась — не закрыть, а как будто у тела был свой план, и тело начало его выполнять, и человек остановил его на полпути.

— Выпейте воды, — сказал Арсений. — Сядьте. Разговор будет долгий.

Жанна вышла из комнаты сама. В халате, со связанными на затылке волосами, бледная. Она села на край стула и держала спину прямой — так сидят те, кого учили вести себя на допросе, но не умеют. Дрожали колени под халатом. Арсений это видел и записал в блокнот — от руки, привычка старой школы: не всё можно доверить распознаванию.

— Расскажу, как это выглядит с нашей стороны, — начал Арсений ровно. — У вас шесть сессий с приростом в коридоре девяносто три — девяносто шесть. По всем шести — совпадение кривых с шагом ноль целых пять десятых. Живые тела так не умеют. Вы знали это до того, как начали. Вопрос первый и пока единственный: что вы использовали — накладки или записи?

Тишина. Холодильник гудел. Где-то за стеной сосед включил телевизор — тихо, нехорошо, на минимальной громкости, как делают, когда слушают.

— Записи, — сказал Носов тихо. — Накладки дороже.

— Где брали?

— Не знаю имени. Посредник, объявления через одноразовые каналы. Записи — с биометрическим следом, настоящие, снятые с людей. Говорят, люди в курсе. Продают свои оргазмы.

— Вам это не кажется странным? — спросил Арсений. Ему было действительно интересно — не для дела, для себя: он всегда проверял, где проходит граница чужого понимания. — Вы двое, судя по анкете, на тёплом контракте второй год. Вы не смогли бы — сами, без записей? Разве не проще было…

— Проще, — перебила Жанна. Голос у неё был тонкий и злой — не на него, на себя. — Проще, да. Только у нас не получается. Никогда не получалось. Понимаете, у него тоже… — она запнулась, подбирая слова, как человек, который идёт по льду и примеривается каждой ступнёй. — Мы пробовали три года. У нас есть десять попыток и минус девять за асимметрию. Мы считали. Каждый раз. Я лежала и слушала, как браслет пишет нам счёт, как будто это счёт за коммунальные услуги. И однажды Кирилл сказал: а давай хотя бы по бумагам будем счастливы.

Арсений кивал, и лицо у него было правильное, доброе, выученное. Внутри он переводил её слова на язык протокола: мотив — экономический, не идеологический. Смягчающее. Это тоже имело значение; он был не из тех, кто ведёт дело ради красивой картинки.

— Консультанта вам рекомендовали? — спросил он, уже перелистывая материалы. — По нашему списку вы проходили предварительное обучение. Сертифицированная синхронистка высшей категории, Ясенева М. В. Три занятия. Она обучала вас, как держать «картину синхронии» между сессиями.

Носовы переглянулись.

— Она ничего не знала, — быстро сказал Кирилл. — Мы не говорили ей про записи. Она учила нас… нормальным вещам. Дыханию. Темпу. Она настоящая, — он вдруг замолчал, потом повторил тише: — Она настоящая. Не из этих. Она бы не стала.

— Значит, вы использовали её, — сказал Арсений без нажима. Фиксация, не обвинение. — Интересно, что вам её жалко.

Жанна подняла на него глаза. В них было что-то, чего он не ожидал, — не страх, не мольба, а что-то старше обоих этих состояний. Усталая ясность.

— Её не жалко, — сказала она. — Это единственное настоящее, что у нас было за два года. Три занятия. Она показала нам, что… — Жанна сжала губы. — Ладно. Пишите что хотите.

Арсений написал: «подозреваемые затрудняются с ответом». Поставил точку. Перечитал. В деле, в графе «связи по линии консультирования», значилась Ясенева М. В., синхронистка высшей категории, индекс девяносто восемь — лучший показатель по городу. Дискредитирующих данных — ноль. Вопросов к ней — ноль. Арсений закрыл эту графу и почувствовал в пальцах лёгкое, привычное удовлетворение от чистого документа: когда всё сходится, когда в деле нет ничего лишнего, как в правильном уравнении.

Он не знал — как не знал никто в этот день, — что фамилия эта ещё вернётся к нему. Документы вообще любят возвращаться.

Официальную часть закончили в одиннадцать. Носовым объявили меру: подписка, потом суд. Кирилл, когда уводили в машину, вдруг остановился на лестнице, обернулся — к жене, не к Арсению, — и сказал просто:

— Жан. Это же правда была. Три занятия.

Она не ответила. Смотрела на него, как смотрят на человека, которого уже выделили из своей жизни и переносят в графу «утраченное», — внимательно, запоминая, и в этом внимании не было ни жалобы, ни счёта.

Арсений отвёл взгляд. Профессиональная привычка: при задержании не смотреть в глаза подследственным дольше трёх секунд — дальше начинается сочувствие, а сочувствие искажает протокол.

Он сел в машину и открыл сводку дня. По пути в Управление браслет мигнул:

Служебный доступ подтверждён. Спасибо за работу.

И система была права: работа была. Работа была всегда. Арсений любил её за то, чего в ней не было: за отсутствие споров. В данных не было «мне кажется». В данных не было обид, приличий, интонаций. Человек мог лгать словами — и лгал ежедневно, изощрённо, от чистого сердца, — но тело лгать не умело. Тело выдавало всё: пульс, тепло кожи, окситоциновый след, ритм. Нельзя было соврать о том, что тебя трогает. Можно было соврать о том, почему.

Поэтому Арсений верил браслетам больше, чем жене. Это было не решение, а следствие. Так верят весам больше, чем покупателю, — просто потому, что весам безразлично, какой вес тебе приятнее.

В Управлении его ждал Птицын — начальник отдела, человек с голосом лабрадора: тёплый, громкий, беззлобный на последствиях. Он зашёл в кабинет без стука, сел на край стола — жест, повторённый достаточно часто, чтобы стать стилем, — и сказал:

— Дело Носовых — хорошее дело, Сеныч. Рапорт директору уже ушёл, тебя отметили. Пять баллов к служебному рейтингу.

— Спасибо, — сказал Арсений, не поднимая головы.

— Слушай, — Птицын повертел в пальцах ручку. — Квартальная аттестация. Зам по верификации, знаешь же, кто уходит. Место твоё по всем параметрам. Дисциплина, раскрываемость, точность. Единственное… — он сделал паузу такой длины, что её нельзя было не услышать, — …профиль. Ну, сам понимаешь. Комиссия смотрит. Не по статье — статья у нас про служебное. Просто… люди в Департаменте должны соответствовать. Ты же нас учишь, как должно. А у тебя в справке — двадцать два. Холодный брак, Сеныч. Как это сверху выглядит, сам понимаешь.

Арсений отложил ручку. Аккуратно, параллельно краю стола — жест, который у него означал, что он считает ситуацию управляемой.

— Лидия после инсульта, — сказал он ровно. — Лекарства сбивают пульс, сбивают реакцию. Справка о медицинском освобождении у меня есть, она подавалась дважды, вы видели её обе.

— Видел, — согласился Птицын. — И комиссия видела. Никто не спорит, Сеныч. Никто тебе ничего не вменяет. Просто повышения не будет, пока профиль не согреется. Формальность. Похлопочем, найдём специалистов, там эти сеансы теперь всем… Ну, ты понял. Подумай. — Он поднялся, потёр ладони и уже в дверях добавил, весело: — Пять баллов, кстати, уже начисли. Смотри.

Дверь закрылась.

Арсений посидел. Потом открыл личный профиль и посмотрел на своё число, как на рентгеновский снимок чужого организма, который он почему-то обязан считать своим.

Y3: 22.

Холодный брак. Двадцать два.

Он помнил, как это число появилось. Помнил точную дату — не потому, что запомнил, а потому, что оно стояло в справке, и справку он хранит в папке с зажатой пружиной. Это было через восемь месяцев после инсульта. Врач сказал: «Возможна нормализация со временем, но пульсационные ответы будут недостоверны, рекомендую режим наблюдения». Браслет стал записывать не близость, а панику Лидии: сердце, сорванное лекарствами, и тело, которое полузабыло, как быть. Система читала эти данные честно — она не умеет иначе, — и выводила: двадцать один. Двадцать. Двадцать два. Холодно.

Арсений не считал это несправедливым. Несправедливость — понятие из той же области, что «мне кажется»: её не проверить. Было просто неудобно, как в примерке чужого пальто: сидит хорошо, а плечи не твои.

Он верил системе. Это была не вера в хорошем смысле и не вера в плохом — это была вера в единственном доступном ему смысле: вера в то, что измеренное существует. Всё остальное — прогноз погоды, услышанный со слов соседа.

Дома было тепло и тихо, пахло мандаринами и чуть-чуть — полиролью: Лидия в этот день протирала подоконники, что делала всегда, когда хотела чем-то занять руки вместо мыслей.

Она сидела в кресле у окна с вязанием — вязала непонятно что, шарф, слишком широкий, в расчёте на чужие плечи, — и когда Арсений вошёл, подняла голову. Увидела его лицо. Поняла.

Слова у неё после инсульта жили по-особенному: они приходили не по вызову, а поодиночке, как запоздалые гости, и нужно было ждать. Она открыла рот. Молчала. Попробовала снова.

— Ты… — сказала она. — Плохо?

— Дело закрыто, — сказал Арсений. — Виновны, всё чисто. Хорошая работа.

Лидия кивнула. Слова всё ещё собирались — он видел это по её глазам, они работали, как руки человека, слепого от рождения, — и он сел перед ней на корточки, чтобы быть ниже её уровня, на уровне её взгляда. Так он делал всегда. Так учили в реабилитационном центре: говорите с пациентом на высоте его глаз, не возвышайтесь над ним.

Она взяла его за руку. Пальцы её были тёплые и чуть скованные — не хватало мелкой моторики, большой палец не слушался, и она держала его ладонь по-старушечьи, обеими руками, как держат чашку. Это было то самое прикосновение, которое существовало до всякой системы, до всяких индексов, до всякой верификации: оно значило «я здесь», и больше ничего.

На запястье у Арсения молчал браслет. Он всегда молчал при этих касаниях: контакт без возбуждения, категория «прочее», начисление ноль. Когда-то Арсений, листая домашнюю сводку, ловил себя на мысли, что сводка их квартиры — это отчёт о живых существах, из которых одно — камень.

Лидия всё-таки нашла слово. Одно.

— Милый, — сказала она. И потом, после долгой охоты за следующим: — Иди… к нам. К нам, — она искала продолжение, — к нам тепло. Понял? К нам тепло.

«К нам тепло» — это была её формула, выработанная за четыре года, вместо «нас греет», «мы согреваемся», «нам тепло». Арсений знал цену каждому её слову: он знал, что «тепло» для неё — слово, завоёванное обратно, отвоёванное у языка, который перестал слушаться. Он знал, что когда она говорит «к нам тепло», она говорит «ты мой» — просто в этом языке так устроено.

И он знал — знал, как аудитор, с отчётной точностью, — что браслет сейчас ничего из этого не прочтёт. Ни интонации, ни цены, ни четыре года охоты за словом. Пульса подъёма не будет, потому что лекарства; окситоцинового следа не будет, потому что у неё выжжена выработка; речевой теплоты — слова правильные, а модуль слушает слитность фразы, а не то, чего она стоила.

Она говорила ему самое главное, какое умела сказать, и это главное проходило мимо счётчика, как поезд мимо станции, где не останавливаются.

— Понял, — сказал Арсений. — К нам тепло.

Он не сказал «люблю». Это слово давно не выходило у него в её присутствии: не потому, что он не чувствовал, а потому, что он не знал, чем его подпишет. У любого «люблю», сказанного вслух при браслетах, была цена и категория; у его — не было. Он боялся, что если скажет его сейчас, оно прозвучит как накладка. Как запись. Как чужой оргазм, подгруженный в чужое свидание.

Лидия погладила его по щеке — той самой рукой, скованной, старушечьей, с неслушающимся большим пальцем, — и где-то глубоко, ниже протокола и ниже страха, у Арсения на секунду закружилось что-то живое, необъяснимое, невычислимое.

Контакт зарегистрирован. Начисление: ноль.

Браслет мигнул зелёным и погас.

Арсений сидел на корточках перед своей женой и думал, что данные не лгут. Это была его единственная вера, и она была цела — так, как цела настенная икона, на которую не смотрят, но с которой не спорят: данные не лгут. Данные не лгут.

Тогда почему, спросил он себя — не вслух, никогда не вслух, — почему единственное настоящее, что было в этом доме за сегодня, осталось нераспознанным?

Ответа у системы не было. В списке её формулировок такого вопроса не значилось.

Глава 3. Марта

В 9:40 Марта распылила под язык две дозы «нежности» — так клиенты называли её в отзывах, так она называла её сама, для краткости, хотя на этикетке было длинное латинское слово и мелким шрифтом: не является лекарственным средством, применять по назначению специалиста.

Спрей не делал ничего запрещённого. Он не поднимал желание — он опускал барьеры: сглаживал краевую тревожность, выравнивал тонус, делал чужое прикосновение на первые двадцать минут похожим на своё. После двадцати минут работу подхватывало уже само тело клиента — при условии, что синхронист знает, что делает.

Марта знала.

Она держала средство во рту до полного рассасывания — так учили, так было эффективнее, — и стояла у окна своей приёмной, глядя, как внизу, во дворе, женщина выгуливает пса. Пёс был рыжий и старый, шёл вполоборота, оглядываясь на хозяйку через каждые три шага: не отстала ли. Женщина смотрела в телефон. Пёс ждал её взгляда и не дожидался, но продолжал оборачиваться — через каждые три шага, с собачьей, никому не нужной верностью, которая ни в одном реестре не значилась.

«Приём, — сказала себе Марта. — Убираем».

Это была её собственная формулировка, из танцевальной жизни. В паре перед выходом ты гасишь всё лишнее: страх, самолюбие, своё имя. Остаётся только контур — то, что ведёт, и то, что ведут. Эмпатию она отключила так же, как танцовщица убирает страх перед поддержкой: не выбросила, а убрала за кулису. Она могла достать её в любой момент. Просто чаще всего было незачем.

В 10:00 позвонил первый клиент дня.

Пара «К. и Л., назначение: разогрев перед годовщиной» — так звучало назначение в квитанции, и Марта каждый раз позволяла себе секунду: прочесть строку и не улыбнуться. Годовщина. Люди покупали у неё годовщину, как покупают фотосессию, — потому что сами они уже не умели: восемь лет брака, ссора из-за ремонта, Юрина мама переехала на лето, и тело Лены давно жило в режиме «не трогай, я в отчётах».

— Садитесь, — сказала она. — Разуйтесь. Сегодня работаем в медленном темпе, я буду ставить ваши руки.

Пара села на ковёр — так было положено по протоколу: ниже уровня глаз, чтобы исчезли позы, одежда, повседневная вертикаль. Лена села криво, стараясь не помять пальто. Юра сел широко, по-мужски, и оба они сидели рядом, как на остановке.

— Лена, положите руку ему на грудь. Не на сердце — на грудь, вот сюда, где широкие мышцы. Сердце — это для серийных сцен. — Марта говорила ровно, как метроном. — Теперь слушайте его дыхание через ладонь. Не регулируйте своё. Просто слушайте.

Лена положила. Через двадцать секунд лицо у неё дрогнуло — она услышала, что Юра дышит чаще, чем говорил ей об этом вчера, и что он, оказывается, волновался не только из-за мамы.

— Хорошо, — сказала Марта. — Юра, повернитесь к ней на тридцать градусов. Не больше. Вам сейчас не нужно видеть её лицо. Вам нужно чувствовать её вес.

Она работала, как работают в паре: читала корпус. Корпус лгал меньше, чем лицо. У Лены плечи стояли выше, чем нужно, — страх, закреплённый в трапециях, возможно, с детства, а может, с этой осени. Марта положила ей руки на трапеции, не спрашивая, и надавила — коротко, глубоко. Плечи опустились. Лена вздохнула так, как вздыхают, когда не собирались, и Юра вздрогнул от этого вздоха, потому что не слышал такого от жены давно.

Дальше всё пошло по партитуре.

Она вела их, как ведут в танце, — не командами, а весом. Слегка сдвинула Юрину руку ниже. Направила Ленину ладонь туда, где у Юры, судя по тремору, жило недосказанное за полгода. Держала темп, не позволяя ни одному из двух форсировать: скорость — единственное, что люди портят всегда, — потому что торопятся доставить друг другу приятное, и приятное становится целью, и цель съедает процесс.

Тела расцеплялись и сцеплялись. Юра нашёл шейный позвонок Лены — тот самый, про который она никому не рассказывала, — и Марта не смогла бы объяснить, как она его навела: не показывала, просто держала наклон Лениной головы на сорок градусов дольше, чем требовалось, и его рука попала туда сама.

Лена заплакала. Тихо, без всхлипа, — так плачут в чужой приёмной, стесняясь.

— Это нормально, — сказала Марта, не сбавляя темпа. — Слёзы на разогреве — это сброс зажима. Продолжаем.

Сессия длилась девяносто минут. В 11:30 на браслетах у обоих развернулись зелёные капли:

Y3: +6. Отличная синхрония!

— Восемь лет, а он не знал, где у вас позвонок, — сказала Марта, когда они, одетые, сидели напротив. — Теперь знает. Дома закрепляйте: три недели, каждое воскресенье, тот же порядок. Не добавляйте ничего нового. Новое — это после стабилизации.

Юра смотрел на неё с той смешанной благодарностью, которую испытывают к человеку, вернувшему тебе собственную вещь. Лена не смотрела: она смотрела на Юру. Марта перевела сумму на их счёт, вычла себе процент с прироста — шесть баллов, по тарифу высшей категории, — и отпустила пару ровно в тот момент, когда Лена, смеясь, впервые за утро дотронулась до мужской руки.

Дверь за ними закрылась.

Марта вымыла руки. Медленно, тщательно, как хирург, — это была не гигиена, а декомпрессия: стирать с кожи чужое тепло. Она смотрела на свои руки под струёй — тонкие, с коротко стриженными ногтями, с мозолью на указательном пальце от лет, проведённых в ладонях партнёров, — и ждала, отзовётся ли что-нибудь.

Не отозвалось. И не должно было: час назад в её руках под ней дрожала чужая женщина, под её весом выгибался чужой мужчина, она держала их темп, как дирижёр держит оркестр, — и внутри у неё всё это время было выметено, чисто, стерильно. Рабочая полость. Тело клиента — партитура, а на партию дирижёра чувства не выдаются.

Так ей было проще. Так ей было надо.

В 14:20 пришло уведомление. Не клиентское — служебное, из того канала, куда попадают синхронисты, чьи бывшие консультируемые фигурируют в делах.

ИЗВЕЩЕНИЕ. Ваши прежние консультируемые К. Н. и Ж. Н. задержаны по статье «Фальсификация биометрических данных». Оказание услуг приостановлению не подлежит. В отношении вас вопросов не имеется.

Марта прочла. Прочла ещё раз — не потому, что не поняла, а потому, что у неё был профессиональный навык перечитывать важное. Потом убрала экран.

Кирилл. Молодой, в шерстяных носках, с этим его торопливым, счастливым способом благодарить. Три занятия. Она учила его дышать в такт с женой, и он дышал, честно дышал, всё остальное они делали уже без неё, — и теперь его повели через коридор с камерами, и где-то в системе уже выставили срок, и Жанна осталась одна в квартире с этой их правильной, отрепетированной синхронией, на которой стоит пломба «подделка».

Марта ждала.

Она знала, как устроено у людей: новость падает в тело, и тело через несколько секунд отвечает — тяжестью, спазмом, слепым холодом за грудиной. Она ждала этого отклика, как

ждала отклика от своих мышц в то утро после операции, когда впервые попросила ногу согнуться, — внимательно, честно, готовая к тому, что придёт.

Ничего не пришло.

Внутри было то же выметенное пространство: чисто, прохладно, без сквозняка. Человек, которого она касалась три раза, которого учила дышать, которого она, если совсем честно, чуть-чуть любила — не его, так его несчастную жадность к настоящему, — ушёл в тюрьму, а она стояла в белой приёмной с чистыми руками и не чувствовала ничего, кроме лёгкой профессиональной досады: дело Носовых — это плюс один пункт к её статистике консультируемых, попавших в дела. Пункт неприятный. Она посмотрела на него в таблице и поставила в графе пометку: «исключить из публичного портфолио».

И вот это — не отсутствие чувства — было единственное место, где в ней что-то шевельнулось. Тонкая, злая нить: не жалость, а странность. Она стояла над своей пустотой, как над чужой комнатой после выселения, и думала: вот здесь должен был быть человек. Здесь он жил. Здесь сто лет назад — ладно, восемь лет назад, до 2040-го — стоял стул, на котором она…

Она оборвала мысль на середине. Аккуратно, как обрывают нить при глухой петле: двумя пальцами, не распуская ряда.

«Приём, — сказала себе Марта. — Убираем».

Последняя сессия закончилась в 19:30. Замкнутый вдовец, пятидесяти восьми лет, «назначение: первый контакт после утраты» — такие были самыми тяжёлыми, не потому, что горько, а потому, что у вдовцов в теле нечего было читать: там всё было одно сплошное чернильное пятно старой любви, и никакой партитуры. Она отработала его по стандарту, начислила ему минимальный прирост, посоветовала группу поддержки и не солгала ему ни разу. Только в конце, на прощание, он сказал: «У вас тёплые руки», — и она ответила: «Это специальная подготовка», — и это была единственная фраза за день, в которой было хоть что-то личное: насмешка над собой, скупая, честная.

Дом встретил её запахом чужой жизни — предыдущий жилец что-то варил годами, и карри въелось в обои навсегда. Марта разделась, повесила пальто и встала посреди комнаты.

Квартира была большая и правильная. Одинокие апартаменты, серия «Соло»: сорок два метра, планировка без лишних углов — так задумано, чтобы меньше мест, где можно спрятаться от уведомлений. На стене над рабочим столом светился её профиль — она не убирала его с экрана, это была форма самодисциплины: смотри на себя каждый день.

Марта Ясенева, 36. Синхронистка высшей категории.

Y3: 98. Лучший показатель по городу.

Стаж парной работы: 11 лет.

Особые отметки: обнуление, 2040.

Два слова в последней строке: слово и год. Она читала их тысячу раз — каждое утро, перед зеркалом, вместе с высотой скул и первыми мелкими морщинами под глазами, которые она не собиралась трогать: лицо было её рабочим инструментом, и инструмент должен был стареть по документам.

Обнуление, 2040.

Она не помнила, кого стёрла.

Это было не забыть — это было не иметь. В памяти на этом месте стояла гладкая стена с маркировкой: «Фрагмент удалён по заявлению носителя. Восстановление: не предусмотрено». Заявление, написанное её собственной рукой, подписанное ею же, в клинике на Курской. Она помнила кабинет, помнила голос Сабуровой, помнила, как пахла комната — снегом и чем-то больнично-персиковым, — и не помнила, ради кого и из-за кого она стояла там в ту зиму. Пустая ниша в памяти: гладкие края, опрятные срезы. Память зарубцевалась так, что даже шов не найти.

Иногда — редко, обычно на грани сна — к ней приходило ощущение, что стена эта — на самом деле дверь, и за ней кто-то стоит. Не стучит. Просто стоит и ждёт, что она однажды повернётся. Марта просыпалась от этого ожидания с совершенно пустым сердцем и не могла вспомнить, о чём она плакала, — потому что не плакала, плакало что-то за стеной, а у того, что за стеной, не было лица.

Она не хотела знать.

Это была не трусость — это была методика. Она разбирала этот выбор, как разбирают партию: если поднять архив, ты получишь либо вину, либо тоску, а оба чувства сделают твои руки медленнее. А её руки — её единственный капитал. Ни вины, ни тоски. Пустая полость, идеально стерильный инструмент. Мир, в котором женщина с Y3 девяносто восемь работала лучше всех, потому что у неё внутри не было никого, кто мог бы дрогнуть.

Она заварила чай без сахара — сладкое давало перепад, а перепады в её профессии были только рабочие, — и села у окна. Внизу тот же двор. Пса не было; не было и женщины с телефоном. Во дворе стояла пустота, аккуратная, как квартира.

Браслет мигнул.

Сводка дня: начисления +19. До порога «Мастер тепла» осталось 2 очка. Так держать!

«Так держать» — это писала система одиноким людям в двадцать три ноль-ноль, и Марта знала, что в соседних окнах, за этими самыми аккуратными дворами, сотни таких же сводок падают в такие же пустые квартиры, и все эти люди, у которых в графе «связи» пусто, читают «так держать» и верят, что их держат.

Она подняла бокал к стеклу — вежливый жест в сторону чужих окон, — и вдруг поймала себя на том, что свободной рукой поглаживает собственное запястье. Там, где браслет. Медленно, круговым движением, как успокаивают ребёнка или напуганную лошадь.

Она убрала руку.

«Приём, — сказала она себе. — Убираем».

И в третий раз за день приём сработал чисто: не осталось ни страха, ни жалости, ни чайного следа чужой жизни, ни пса, ни Кирилла в шерстяных носках. Осталась ночь, метр и завтра в 9:40 — две дозы под язык.

Пустая квартира была отрепетирована идеально. За одиннадцать лет Марта научилась играть её наизусть — и ни разу не позволила себе подумать, что партия, которую играешь наизусть восемь лет подряд, — это и есть жизнь, просто в неё перестаёшь вслушиваться.

Глава 4. Соня

Отказ Глебу пришёл во вторник, и Соня узнала об этом раньше него — потому что уведомления о семейных событиях приходят обоим одновременно, просто Глеб был в тот момент в стволе коллектора, где до браслета не дотянуться.

Соня стояла у клиента, на Полевой, и перед ней стоял распахнутый рояль семидесятых годов — хороший старик с осевшим голосом, который от сырости ушёл в нос, — когда запястье дрогнуло.

СЛУЖЕБНОЕ. Супруг Ракитин Г. А.: решение по аттестации — ОТКАЗ. Причина: личный рейтинг 44, в том числе Y3 в составе пары: 31. Позиция «ведущий специалист» требует профиля не ниже 60. Пересмотр: через 12 месяцев.

Она прочитала — и руки сами продолжили своё: струна, проверка октавы, унисон на второй. Это было профессиональное умение, которым она гордилась и которого стыдилась одновременно: работать руками, пока внутри рушат стену. Моторика шла своим ходом, как пешеход, обходящий место аварии, — не останавливается и всё-таки повернёт голову.

Ведущий специалист. Глеб вёл южный участок канала девять лет. Он знал эту трубу так, как Соня знала клавиатуру: пальцами, на ощупь, в темноте. Он выходил в командировки зимой, когда вода в дюкере вставала, и лежал в болотном сапоге по колено, и возвращался с обмороженными пальцами и с той особенной гордостью молчуна, у которой нет голоса, чтобы себя объявить. И теперь машина написала: профиль не соответствует.

Не «вы плохо работаете». Не «вы не правы». Просто: вы холодные. Тридцать один.

Старик «Блютнер» взял ноту мягко, с лёгким деревянным призвуком. Соня слушала его и думала, что инструменты она умеет оправдывать. Этот — стар. Возраст в нём слышен, и за это никто не понижает его в звании. У человека от возраста слышно тоже, только называют это не тембром, а рейтингом.

Домой она ехала и репетировала разговор. Так репетируют трудное: не слова — интонацию. Нельзя с порога — он вернётся с работы вымокший и злой на всех, кто решал. Нельзя после ужина — после ужина он моет посуду, и это его час тишины. Нельзя в постели. Остаются лестничная клетка и выходные, и на выходных лестничная клетка будет занята Фёдором Ильичом, потому что он теперь выстаивал там свои арифметические очереди к жизни, и Соня не знала, как об этом сказать, потому что сказать об этом значило признать, что она видела.

В пятницу она сказала. В пятницу, на кухне, Глеб мыл кружки, и Соня положила на стол распечатку — бумажную, старомодную, потому что на бумаге страшные вещи выглядят документом, а в экране — сводкой, которую можно смахнуть.

— Синхронистка, — сказала она. — Высшей категории. Приём по льготной программе, для пар с низким Y3. Дешевле, чем двенадцать месяцев ожидания пересмотра.

Глеб не повернулся. Он домыл кружку, поставил её на сушилку, вытер руки о полотняное полотенце, которое она ткала лет сто назад, — нет, не ткала, купила в командировке, в маленьком городке, и до сих пор не могла выбросить, — и только потом обернулся.

— Нет.

— Глеб…

— Это наше, — сказал он. Голос у него был тихий, как всегда, когда он не кричал, а формулировал. — Соня. Это наше. Наша спальня, наши руки, наши ночи. Никому не отдам. Ни на сеанс, ни на проверку, ни на балл. Система сказала, что у нас тридцать один. Ну и пусть себе говорит. Я не пойду продавать это человеку, который за девять лет работы ни разу не спросил меня, как я живу.

Он не имел в виду синхронистку — она это понимала. Он имел в виду вообще всех. Глеб умел любить молча и неловко, и молчаливость свою считал не дефектом, а богатством: то, что не сказано, не обесценено пересказом. Теперь молчание расценивали как дефицит.

— Они не про любовь спрашивают, — сказала Соня. — Они про ритм спрашивают. Про дыхание. Это можно перенять, как приём игры. Это не измена, это… настройка.

— Настройка, — повторил он. Усмехнулся — криво, одной стороной. — Ты настройщица, тебе легко говорить. Ты возьмёшь рояль, раскроешь, поправишь штифты. А я что возьму? Себя раскрою? Там, Соня, внутрь лезть будут. Там, — он дотронулся коротким жестом до груди, неопределённо, как дотрагиваются до места, где болит давно и без диагноза, — меня будут крутить.

Она молчала. Она знала, что он прав и что правота его ничего не стоит: через двенадцать месяцев пересмотр, через двенадцать месяцев Глебу сорок, и стаж не будет ждать, и очередная позиция уйдёт кому-то, у кого в профиле стоит семьдесят, пусть и сварганенное на сеансах и «коктейлях». Он это тоже знал. Знал и всё равно держался за свою гордость, как утопающий за кромку льда, — и Соня с ужасом поняла, что именно эту кромку она сейчас будет уговаривать его отпустить.

— Тебя не повышают не за то, что ты плохо работаешь, — сказала она тихо. — Тебя не повышают за то, что ты меня любишь неправильно. Ты это понимаешь? Глеб. Ты слышишь, что я говорю? Тебя оценили не как гидролога. Тебя оценили как мужа. И по их таблице ты — плохой муж.

— Я хороший муж, — сказал он спокойно, без вызова. Так говорят люди, которые в это верят и не будут переубеждать, потому что переубеждать глухих — не их ремесло.

И Соня вдруг увидела его со стороны — этого молчуна с обмороженными пальцами, который девять лет таскал на себе трубы, вёсны, дюкеры и её, — и разозлилась она не на систему. На него. На это его «ну и пусть себе говорит», на это благородное упрямство, которое красиво в фильмах и голодно в жизни.

— Хорошего мужа сейчас не кормят, — сказала она. Слова вышли злее, чем она хотела, и она не стала их брать обратно. — Паёк режут «холодным». Очередь у нас стоит. Медстраховка, если ты забыл, у меня дешевле на треть, а у тебя — базовая, и если с тобой в стволе что-нибудь случится, тебя будут чинить по остаточному принципу. Ты не отдаёшь никому «наше». Замечательно. Ты отдаёшь его им, вот этим, — она кивнула на окно, за которым висел чужой светящийся город, — без всяких сеансов. Просто так. Даром.

Глеб смотрел на неё долго. Потом отвернулся к окну и постоял — так, как стоял иногда ночью у стекла, лбом к холодному. Соня знала этот жест со спины лучше, чем его лицо: лицо Глеба было нечитаемое, а спина — вся наизусть.

— Подумай, — сказала она и вышла из кухни, оставив распечатку на столе. Не убрала её — нарочно. Пусть лежит. Бумага — упрямая вещь: её не смахнёшь, она будет лежать и утром, и в воскресенье, и через неделю, до тех пор, пока не будет прочитана не только глазами.

Фёдора Ильича урезали в ту же неделю.

Соня узнала в субботу — он остановил её на лестнице, но не для арифметики на этот раз. Он стоял у своей двери, пятый этаж, и держал в руках листок, распечатанный на серой бумаге.

— Сонечка, — сказал он. — Вы мне не объясните одну вещь? Вы грамотная, вы с машинами…

Уведомление было коротким. Соня прочла его быстрее, чем он успел протянуть.

ШТРАФ. Фиксировано событие: возбуждение без верифицированного партнёра одиночный акт, дата, время. Начисление: –4 балла. Повторные фиксации в течение 90 дней: усиление меры.

Комментарий: одиночная сексуальная активность не учитывается в контуре общественного здоровья. Рекомендация: партнёрство, консультация синхрониста либо медицинское освобождение по возрастной категории.

Соня прочла — и слова в этом уведомлении расступились внутри неё, как вода расступается перед чем-то тяжёлым, и смыкаются за ним. Возбуждение без партнёра. У семидесятилетнего вдовца. Лидочка, говорил он однажды, любила Шостаковича. Лидочка три года как нет, а тело — тело есть, тело не спросило разрешения, и машина зафиксировала событие в пять утра по данным пульса и микродвижений, и теперь он стоит с листком и спрашивает у соседки, что это значит.

— Это значит, — сказала Соня, и голос у неё сел, — что вам выписали штраф. За сон.

— За сон? — он наморщил лоб. — Я же ничего… Я сплю. Мне снится иногда, ну, всякое. Лидочка снится. Это же не…

— Это не ваше, — сказала Соня. Она слышала свой голос издалека, чужой, слишком твёрдый. — Фёдор Ильич, это не ваше и не чужое. Это машина, которая смотрит вам в кровь и считает ваши сны. — Она сглотнула. — Штраф −4. Плюс паёк урезали?

— На двенадцать, — сказал он покладисто, как о погоде. — Восемьдесят два стало семьдесят. Я уж пересчитал: если без каши… то есть с кашей, но без масла и без второго чая… нет, с кашей и вторым чаем, но без масла… — он запутался, начал считать снова, и пальцы у него дрожали, — …то до пятницы дотянуть можно, если в среду в «социальный абонемент» записаться. Там очередь, но записываться не обязательно ходить, просто запись идёт в профиль, и профиль…

Он говорил про запись в профиль так, как раньше в его мире — в том, прежнем, давно снесённом, — говорили про то, чтобы не забыть поставить печать в обходном листе. Процедура. Обходная. Только листок этот назывался «социальный абонемент», и в нём, судя по всему, давали слушать Шостаковича по вторникам, если рейтинг не ниже сорока.

— У меня сорок один, — сказал Фёдор Ильич с лёгкой, виноватой гордостью. — Проходной.

Соня смотрела на него, на его пальцы, дрожащие над серым листком, на его свитер, вытертый на локтях до блеска нитей, и внутри у неё поднималось то, для чего у неё не было слов, а были только слёзы — злые, детские, от того, что мир оказался устроен не так, как она в девять лет предполагала, читая книжки, где стариков уважали за память о покойных жёнах.

Ей было стыдно за весь мир. За систему, которая ни разу не спросила, снится ли ему Лидочка в том же платке. За себя, которая проходила мимо его арифметики каждый день и считала эту арифметику трогательной, а не криминальной. За своё молчание на этой лестнице все эти месяцы.

— Фёдор Ильич, — сказала она. — Идите домой. Я зайду к вам вечером. Поговорим про абонемент. И — поужинаете у меня.

— Что вы, — смутился он, — у меня свои есть… у меня есть макароны…

— У меня борщ, — соврала Соня. — Некуда девать. Большая кастрюля. Глеб не ест борщ, понимаете? Восьмой год не ест. Придёте — поможете.

Он улыбнулся — неуверенно, стариковски, всем морщинистым лицом, которое, казалось, было настроено в миноре навсегда и теперь сбивалось на мажор, как ненастроенный инструмент сбивается на чужой тон.

— Ну, если некуда девать, — сказал он. — Тогда можно. Я поужинаю у вас. Спасибо, Сонечка.

Он скрылся за своей дверью, и Соня ещё минуту стояла на лестнице, глядя на серую бумагу, на цифру −4, и понимала, что этой цифры теперь не вычеркнуть: она не бумажная, она в профильной, она — как штихель в старом дереве — сняла слой, который уже не нарастёт.

Мир, которому стыдно за себя, сказал он где-то… нет, это она себе сказала. Не важно. Важно было, что стыд не начисляется в баллах.

Глеб сдался в воскресенье.

Она знала это раньше, чем он сказал. Он вёл себя как человек, который решил, но ещё репетирует, как сказать: подавал ей борщ — борщ она сварила, как и обещала; Фёдор Ильич съел две тарелки и по вторникам теперь ходил слушать Пятую симфонию, — а потом сел напротив, положил локти на стол и долго смотрел на свои руки.

— Тот синхронист, — сказал он наконец. — Он будет смотреть, как я тебя… — он запнулся. Глеб не умел говорить о близком прямо; между «обнимает» и «любит» у него лежала пропасть без моста. — Будет видеть. Наше.

— Она, — сказала Соня. — И будет видеть не то, что ты думаешь. Ритм. Дыхание. Ты же можешь играть без публики? Глеб, посмотри на меня. Никто не отберёт твоё. Отберут то, чего у нас нет: красивую картинку в профиле. Её и сделаем. А настоящее…

— Настоящее никуда не денется, — сказал он за неё. И усмехнулся — уже по-другому, по-глебовски, тепло и криво одновременно. — Так, да? Настоящее никуда не денется.

— Настоящее никуда не денется, — согласилась Соня.

Она в это верила. Тогда, в то воскресенье, в ноябре сорок седьмого, при свете единственной лампы над столом, когда Фёдор Ильич ушёл к себе считать новые баллы, а Глеб мыл за ним посуду, Соня верила в это всей своей настройщицкой, слышащей натурой: настоящее никуда не денется, потому что настоящее — это то, что не настраивается. Фальшь можно поправить штифтом, струну — колком. А у этого — у промаха мимо рта, у одеяла, притянутого не вынимая руки, у «я хороший муж», сказанного в пустую кухню, — нет штифтов и колков. Его не настроишь, и потому он настоящий.

Через восемь месяцев она скажет себе в телефон: запомни это. Настоящее никуда не денется.

Но это будет потом. А сейчас она записала номер из объявления — высшая категория, Ясенева М. В., — и отложила листок в ящик, где лежали все бумаги, которые боялись исчезнуть: гарантийные талоны, старые фотографии, письмо матери Глеба.

Назначили на четверг, 14:00.

Соня не знала, что к четвергу стоит выбрать одежду — синхронистки работают с телами, и сеанс предполагал движение, — не знала, что за сорок минут до назначенного часа у неё вспотеют ладони, как перед концертным выходом, и что Глеб наденет рубашку, которую не надевал с их свадьбы.

Она знала только, что теперь у них есть план. План — это всегда тепло. Хоть на месяц. Хоть на две недели.

Браслет на её запястье молчал весь вечер — и это молчание было, как ни странно, единственным, что не изменилось в их доме за эту неделю. Всё остальное: борщ, серый листок, Пятая симфония по вторникам, Глеб в свадебной рубашке, — сдвинулось, дрогнуло, поехало.

Чашка была уже чистая, но Соня держала её под краном и тёрла пальцем бурое чайное кольцо, которое не брала никакая губка. После десяти бойлер переходил в экономный режим, вода шла чуть тёплая, и всё равно руки не хотели из-под неё уходить. Вода гудела, а пока она гудит, можно не говорить.

За ужином Глеб не произнёс ни слова. Теперь в квартире стояла тишина, которая бывает не передышкой, а вещью: её несут вдвоём и боятся уронить. Индикатор отопления на стене показывал девятнадцать. На Соне были шерстяные носки и его старая серая футболка, растянутая на локтях. Футболка пахла им и стиральным порошком пополам.

Эту тишину за ужином она нарушила сама и теперь не понимала, зачем. Сказала, что у Лиды с работы есть номер одной женщины, синхронистки. Что это не так дорого, как говорят. Что можно просто узнать.

— Это наше, — ответил Глеб.

Поставил тарелку в раковину и ушёл в комнату. Комната и была всей квартирой: диван, шкаф, стол у окна и кухонный угол за полкой с крупами.

Браслет мягко толкнул в запястье.

«Активность дня: пониженная. Совет: разговор с партнёром, 4 минуты»

Соня смахнула совет.

Скрипнула половица у шкафа, она всегда звучала на четверть тона ниже соседних. Потом стало тихо. Потом его руки легли ей на бёдра сзади.

Он ни о чём не спросил. Восемь лет он сначала спрашивал: взглядом, паузой, шуткой вполголоса, касанием плеча, таким осторожным, будто проверял, не горячий ли чайник. Соня привыкла к этому вопросу, как привыкают к скрипу двери. Его перестаёшь слышать, но если однажды дверь не скрипнет, вздрогнешь.

Сейчас дверь не скрипнула.

Он прижал её к столешнице и упёрся лбом ей в затылок. От фланели несло улицей, железом и его выдохшимся днём. Дыхание у него было тяжёлое, и у Сони внизу живота всё сжалось, как сжимается от испуга. Только это был не испуг.

Чашка звякнула о раковину. Соня её отпустила.

Сначала она удивилась почти со страхом: что с ним, откуда эта твёрдость, почему молча? Потом страх ушёл. Его сейчас не надо было гладить по плечу. Его надо было пустить.

Она подставила шею. Он взял её за волосы у виска, не больно, но крепко, как берут своё, и повернул её голову к себе. Целовать не стал. Прихватил зубами угол её рта и отпустил.

«Речевая теплота: не зафиксирована»

— Глеб, — сказала она. Это был не вопрос.

Он стянул с неё футболку, как снимают чехол с мебели. Ткань на секунду закрыла лицо, потом холод квартиры лёг на голую кожу, и соски стянуло раньше, чем он до них дотронулся. Руки у него дрожали, но не от робости, а от злости. И эта дрожь была ей нужнее, чем вся их осторожность за восемь лет.

Соня развернулась, схватила ворот клетчатой рубашки, расстёгнутой на две пуговицы, и дёрнула вниз. Третья пуговица отлетела и щёлкнула где-то об пол. Лицо у него было чужое: челюсть сжата, на скуле дёргается мышца, глаза тёмные и ничуть не виноватые.

Лечь он не дал. Развернул её обратно, надавил ладонью между лопаток, и край столешницы лёг холодной полосой поперёк живота. Звякнул ремень. Брюки он так и не снял, и пряжка ледяным пятном прижалась к бедру. Шерстяные носки остались на ногах: голая, в одних носках, нелепо, как во сне. Смешно ей было ровно секунду. Потом она выставила ногу и подалась назад всем весом, без их вечного «подожди». Он глухо выдохнул сквозь зубы.

Раньше он долго её готовил, будто заранее извинялся. Сейчас не было ничего. И оказалось, что это не нужно.

Он брал. Не уговаривал, не угадывал, не оглядывался на неё каждую секунду. Столешница вздрагивала, за дверцей навесного шкафа звякали банки, капал кран, у соседей за стеной бубнил телевизор. Всё это было грубо, низко и правильно. Соня вцепилась в край раковины.

Если две струны в унисоне расходятся хоть на волосок, звук начинает дрожать. Настройщики называют это биениями. Восемь лет между ними шли биения: он чуть раньше, она чуть позже, он бережёт её, она бережёт его, и всё это бережение дрожит, как плохо натянутая струна. Сегодня дрожь пропала. Соня услышала это раньше браслета. Только строил их не камертон.

«Синхрония: 81%. Максимум для пар сегодня»

Каждый толчок он будто отправлял не ей, а кому-то третьему, невидимому, прямо в ухо: вот. Вот. Вот вам. И Соня подхватывала этот ритм, потому что впервые за долгое время он был живой.

На секунду он замедлился. Она почувствовала, как в нём просыпается прежний Глеб со своим вечным «не больно? можно?».

— Не останавливайся, — сказала она.

Не попросила. Таким голосом не просят, им распоряжаются и ответа не ждут.

«Императив зафиксирован»

Он не остановился. Перехватил её запястья, прижал к столешнице, навалился всем весом. Ей нравилось, что он хочет громко, не вполголоса, не оглядываясь ни на неё, ни на цифру. И нравилось, что одно её слово гонит его дальше. Кто из них кем сейчас распоряжается, она не знала.

Всё пришло разом, без подъёма. Так в темноте падаешь со ступеньки, которой не заметила. Соня закусила собственное запястье, чтобы не закричать на всю дешёвую перегородку. Глеб дёрнулся следом, вжался лбом ей между лопаток и произнёс в её спину единственное слово за весь вечер:

— Блядь.

Стало тихо. Только кран да холодильник, который вздохнул и замолчал.

«Асимметрия. Признаки агрессии. −2»

Ниже на долю секунды проступила ещё одна строка, серая, мелкая, без пояснений: E4. Мелькнула и погасла.

Тридцать один минус два.

Глеб отстранился. Застегнул брюки, одёрнул рубашку без третьей пуговицы. Движения точные, служебные, как у человека, который закончил смену. Не взглянув на неё, он ушёл в комнату, лёг на неразложенный диван и отвернулся к стене.

Соня подняла с пола футболку и натянула её. Села на край дивана, не касаясь его. На.

Машина молчала. Люди жили.

Глава 5. Марта

Первое, что Марта заметила, открыв дверь: они пахли не духами — обоими сразу, — а чем-то домашним: свежим хлебом, мокрыми варежками, следом поездки в трамвае. Клиенты к ней приходили двумя видами: душистые, готовые, как к салону, или выжатые, как после допроса. Эти были третьего вида. Они пахли обычной жизнью, которую принесли с собой, не заперев дома.

— Ясенева, — сказала она. — Проходите. Переобуйтесь, здесь у меня паркет сороковых годов, я с ним в сговоре.

Мужчина переобувался долго и серьёзно, как будто сдавал экзамен на аккуратность. Женщина сняла ботинки одним движением и осталась стоять в тонких шерстяных носках — домашних, с вытершейся пяткой на правой, — и Марта отметила это раньше, чем лицо: правая нога у этой женщины была рабочая. На ней сидели, на неё опирались. Тело, привыкшее держать вес.

— Соня, — сказала женщина. — Ракитина. Это Глеб.

— Здравствуйте, — сказал мужчина. Голос низкий, с хрипотцой на стыке слов, как у человека, который говорит мало и потому каждое слово выходит с усилием, как болт, который вкручивают в старую резьбу.

— Чай будете? — спросила Марта. — Не ритуал, просто у меня холодно, я экономлю на отоплении, это моя маленькая симуляция бедности.

Женщина засмеялась — быстро, недоверчиво, как смеются с чужих шуток, не решаясь поверить, что шутка своя. Мужчина сказал: «Спасибо», и Марта поняла, что он будет благодарить её весь сеанс и не сможет при этом расслабиться. Так бывает с людьми, которые в чужом пространстве держат себя за руки.

Они сели на ковёр. Марта разложила перед собой планшет и, не поднимая глаз, спросила:

— Кофе не покупали две недели. Пьющие воду пьют воду, пьющие кофе ломаются на кофеине. Мне для диагностики всё равно, но я спрашиваю, чтобы вы знали: я вижу больше, чем вы докладываете.

— Кофе не по карману, — сказала Соня просто. Без вызова, без жалобы. Как констатируют погоду.

Марта подняла глаза. Женщина смотрела на неё открыто, чуть насмешливо — тем способом, которым сильные люди предварительно отмеряют дистанцию. Марта эту дистанцию приняла. С такими работать было хорошо: они не покупали у неё утешение, они покупали настройку.

— Начнём с общего теста, — сказала она. — Сядьте спина к спине. Позвонок к позвонку, не гнитесь. Теперь дышите. Я ни о чём не прошу, кроме дыхания. Думайте о чём хотите.

Они сели. Марта встала рядом и закрыла глаза — не для эффектности: считывать спины удобнее вслепую, кожа честнее глаз.

У Ракитиной спина дышала. Это не метафора: у тренированных и у живых спины дыхание видно, как у воды видно течение. Женщина дышала неровно — верхним, зажатым, по-городскому, — но ровно настолько, насколько дышит любой человек, которого посадили спиной к чужому мужу и велели не думать. Нормальный фон. Читается.

Глеб дышал. Просто дышал. И вот тут Марта, которая читала спины одиннадцать лет, у которой была высшая категория и девяносто восемь, — Марта не смогла прочитать ничего.

Не «читалось плохо». Не «зажат». Читалось ноль. Как будто она положила руку на клавиатуру настроенного рояля — и клавиатура оказалась мёртвая. Не молчащая, не расстроенная: без данных. Его спина не выдавала ни истории, ни напряжения, ни привычки. Мускулы были — крепкие, рабочие, гидролог, — а на гидрологов тело наслаивается, как на остов лодки, —

но под этими мускулами не было той подложки, на которой у всех без исключения написано, кто они. У старух, у солдат, у воров, у врачей — у всех был почерк. У этого не было.

Она открыла глаза. Смотрела на его затылок — короткая стрижка, шрамик за ухом, старый, тонкий, от ветки или от лыжной палки, — и затылок её тоже не выдал ничего. Обычно затылок — это всё: у подавляющего большинства голова живёт наизусть, как витрина.

— Глеб. Поднимите левую руку и положите на колено Сони. Не думайте, куда. Просто положите.

Он поднял и положил. Рука легла — Марта увидела это за долю секунды до того, как она легла, — точно, на конкретное место, на верхнюю треть бедра, чуть изнутри. Не «просто положил на колено». Положил туда, где у этой женщины за восемь лет брака, судя по микронапряжению под его пальцами, жила старая истина: сюда можно.

Данные были. Рука знала. Спина не выдавала.

Марта медленно прошла вдоль их спин. Ракитина не удержалась и подалась назад — на миллиметр, всем весом, — оперлась на мужа. Тот принял. Принял так, что по его позвоночнику ничего не изменилось: ни один позвонок не сдвинулся, ни одно дыхание не сбилось. Вес жены растворился в нём, как соль в горячей воде.

У Марты внутри, в том самом выметенном пространстве, где ничего не отзывается, — что-то отозвалось. Не чувство. Скорее акустический щелчок: так щёлкает замок, когда ключ подходит с первого раза. Она не поняла ещё, к чему замок, к чему ключ, — поняла только, что произошло совпадение уровня. Что она встала напротив тела, которое читает, как она сама: не в профиль, не по частям, а целиком и сразу.

И которое отказывается читаться.

— Хорошо, — сказала она вслух. Голос не дрогнул; это она проверила первой. — Расцепитесь. Соня, встаньте, пройдите по диагонали. Глеб, смотрите на её походку и скажите мне потом, что заметил.

Соня прошла. Походка у неё была как у всех, кто носит инструмент: чуть перекошенная, правое плечо ниже, центр тяжести смещён — от ящиков с ключами, от рояльных молотков, от ковриков, которые настройщицы возят десять лет. Глеб смотрел на неё, не моргая.

— Что заметил? — спросила Марта.

— Что правая пятка стёрта раньше левой, — сказал он. — И что она шла не ко мне. Она шла мимо, а потом на последнем шаге повернулась ко мне. Она всегда так делает. Я смотрел на то, как она идёт, восемь лет.

— Зачем вы это мне сказали? — спросила Марта. — Про восемь лет.

Глеб пожал плечами — впервые за всё время у него появилось что-то читаемое, короткое раздражение, живое, как искра, и тут же погасло.

— Потому что вы спросили, что я заметил. Я заметил это. Врать вам невыгодно, вы всё равно увидите.

Марта посмотрела на Соню. Соня стояла спиной к окну, и свет выхватывал её по контуру — тонкая, немного сутулая от привычки к работе под инструментом, — и на её лице было то, что бывает у людей, когда их любят вслух в присутствии третьего: растерянность и тайная жадность одновременно.

— Ваш муж, — сказала Марта, — читает вас напрямую. Без браслета, без модулей, без меня. Вы это понимаете?

— Понимаю, — сказала Соня. Голос у неё стал тише. — Только это не помогает. Это не засчитывается.

— Не засчитывается, — повторила Марта. — Да. Не засчитывается.

Она оглянулась на Глеба. Тот сидел на ковре, упершись ладонями в пол, и смотрел на жену — просто, без выражения, как смотрят на пейзаж из окна, мимо которого живут. И этот взгляд — единственное читаемое место в нём — был старше их брака, старше системы, старше

Марты. Было в нём что-то такое, отчего в горле подступила глупая, непрофессиональная теплота, и Марта распознала её, как распознают незваного гостя, и выставила за порог. Не сейчас. Приём. Убираем.

— Индивидуально с каждым, — сказала она. — По очереди. Соня — сегодня. Глеб — в следующий четверг. Возражения?

— Возражений нет, — сказал Глеб быстро, слишком быстро, и Марта услышала в этой скорости то, что он сам не слышал: он боялся остаться с ней наедине. Не она его — он её. Люди такого склада боятся чужих рук так, как боятся чужих глаз.

— Хорошо, — сказала она. И, уже собирая планшет, добавила ровно: — Глеб. Со мной вы будете в безопасности, как в коллекторе. Я работаю не с личным, я работаю с ритмом.

Он поднял на неё глаза. И на секунду — на одну, на две — Марта увидела в них дно. Настоящее, глубокое, без донных отложений: усталость восьми лет молчания и что-то ещё, чему она не могла дать имени, потому что имя этому стоит дорого, а платить было нечем.

Потом он моргнул, и дно закрылось.

Соню она работала сорок минут.

Это была честная, хорошая работа: тело женщины встрепенулось под её руками, как встрепенулся бы замёрзший инструмент в тёплой комнате. Зажатые трапеции поддались на третьем заходе, дыхание опустилось вниз, из груди в диафрагму, и когда Марта уложила её руку на собственный каркас и повела в медленном вращении — «как в паре, только веду я», — тело Сони пошло за ведением с той благодарной покорностью, какая бывает у музыкантов: привычка к тем, кто держит темп.

Синхрония на индикаторе ползла вверх: тридцать один, тридцать четыре, тридцать восемь. Ничего особенного. Обычная работа с обычным материалом.

— У вас с мужем всё есть, — сказала Марта в конце, вытирая руки. — Скажу это раз, чтобы больше не возвращаться. У вас есть то, что не продаётся. Мои услуги нужны вам для того, чтобы система это увидела. Не для того, чтобы это появилось.

— А если система не увидит никогда? — спросила Соня. Она одевалась медленно, натягивая свитер через голову, и голос её был приглушённый, из шерсти.

— Увидит, — сказала Марта. — Система глупая. Она видит то, что ей показывают, — это её слабость, и на ней мы работаем.

Это была её рабочая формула, отрепетированная до автоматизма. Она произнесла её сотни раз, сотням пар, и ни разу — ни единожды — не лгала в ней так сильно, как сегодня. Сегодня она произнесла её и подумала: а сама-то? Сама ты видишь то, что тебе показывают? Ты только что держала в руках женщину, которая тебя уже немного жалеет, — да, жалеет, синхронисты такого не путают, — и мужчину, у которого внутри замок с твоим ключом, и что ты видела? Цифры. Цифры и ноль.

Проводив пару до двери, Марта вернулась в пустую приёмную. На планшете висела сводка:

Клиент: Ракитина С. / Ракитин Г. Диагностика: завершена.

Синхрония на момент выхода: 38. Прогноз коррекции: положительный.

Примечание системы: у клиента Ракитина Г. зафиксирован нетипичный профиль реакции. Рекомендация: расширенная сессия индивидуально.

Нетипичный профиль реакции.

Система тоже не смогла его прочитать. Марта смотрела на эту строчку и чувствовала странное, запретное облегчение — как человек, который всю жизнь думал, что он один в комнате, и вдруг узнал, что в комнате есть ещё кто-то, кто тоже не понимает, что происходит.

Она закрыла планшет. Вымыла руки — дольше, чем нужно. Распахнула окно, в просвет полетел снег, ноябрь готовился встать по-настоящему.

В понедельник она отменит ему сеанс. Подумала она. Найду причину — перегруз, замену, что угодно. Передам пару коллеге, у коллеги дедлайн по категории, она возьмёт. Это правильно. Это профессионально. Я видела его взгляд на жену, и этот взгляд — старше всего на свете, и в нём нет мне места, и мне не нужно место в нём.

В четверг, в 14:00, Марта открыла дверь и сказала:

— Проходите. Разуйтесь. Здесь у меня паркет сороковых годов.

Это было чистое, отрепетированное, взвешенное враньё — и она не могла вспомнить, когда в последний раз говорила враньё с такой лёгкостью.

Глава 6. Арсений

Сеть подделок смотрелась изнутри, как хрусталь: красиво, аккуратно и целиком построена на чужих руках.

Арсений разобрал её за одиннадцать дней. Он не любил спешить: спешка в аудите производила впечатление, но оставляла непроверенные этажи, и через них потом проседало всё здание. Он шёл снизу — от Носовых, от одноразового посредника, — и выстраивал на планшете диаграмму, похожую на схему метро: узелки, ветки, пересадки. Восемь пар за полтора года. Каждая платила не деньгами — баллами, наличные давно умерли, — и каждая получала одно и то же: шесть-восемь сессий с «живым» биометрическим следом, кривые которых совпадали между парами с точностью до сотой. Кто-то один записал настоящий оргазм и продавал его восьми людям сразу.

Звукорежиссёрская работа, подумал он тогда, ещё не зная, насколько прав.

Первый посредник — курьер-полулегал с верблюжьей фамилией — выдал адрес передачи: шесть вечера. Второй торговал «витаминами настроения» — назальным окситоцином из одной тёмной конторы — и имел преступно скучную анкету. Третий, к удивлению, был специалистом по наскальной живописи и сбежал вглубь. Похоже, все три звена держал один. Похоже, он и был той самой водой, в которой плавали все эти добрые люди: горячие пары, одинокие вдовцы, отчаявшиеся студенты.

Пятница, 20:40. Арсений ехал на окраину, в гаражный массив, и думал о том, что всегда ненавидел окраины. Не потому, что там было плохо, — потому, что там было честно: вот рыжий снег, вот гаражи, вот свет из чужого окна, в котором кто-то ужинает. В центре честность прятали за стеклом и вывеской. Здесь не прятали.

Объект не прятался тоже: гараж с надписью «Аудио-видео записи. Носители. Консультации» — что было, если вдуматься, единственной честной вывеской во всём деле Носовых.

Он постучал.

Мужчина, открывший дверь, не притворялся ни рабочим, ни сантехником, ни «просто прохожим» — Арсений умел отличать по-настоящему подготовленных людей, и этот был из подготовленных. Лет сорока семи, крупный, с седеющей бородой клином и с обстоятельным взглядом человека, который всю жизнь сидел за пультом и смотрел на уровень — уровень записи, уровень выхода, уровень всего.

— Анатолий? — спросил Арсений.

— Гречихин, — согласился тот. — Вы к поесть или к послушать?

— К послушать.

— Тогда заходите, — сказал Гречихин. — Осторожно на пороге, тут ящик с лентами. Ленты я, знаете ли, не выбрасываю. Лента — это единственная вещь на свете, которая с каждым проигрыванием становится честнее. А вы, — он посмотрел на браслет Арсения, потом в лицо, — я вас где-то видел. Был у нас один аудитор, лет десять как в Департаменте. Звали Вальк. Глаз такой — как осьминог, всё видит.

— Вальк — это я, — сказал Арсений.

— А, — сказал Гречихин. — Ну тогда проходите, осьминог. Посидим.

Внутри гараж был тёплый и по-своему уютный, как дом для технического человека: стол с пультом, стойка с мониторами, стеллажи с коробками — старые кассеты, катушки, DAT-ленты, — и запах пыли, самого непорочного, что было в этом деле.

Гречихин сел за пульт и сделал вид, что никакого Арсения в гараже нет. Это было, подумал Арсений, очень профессионально: молчать в присутствии аудитора до тех пор, пока не заговорит аудитор.

— По делу Носовых, — начал Арсений. — Шесть сессий. Совпадение кривых с шагом в полсекунды. Кто-то продал им биометрическую запись.

— Скорей всего, — сказал Гречихин. Он повернулся к пульту и откинулся в кресле — жест человека, который не собирается бежать. — Совпадение. Точно.

— Это не право, это статья.

— Знаю. Фальсификация. До шести, — Гречихин пожал плечами. — Аудитор. Скажите мне как аудитор: вы когда-нибудь слушали запись настоящего оргазма в нормальных мониторах? Не с браслета, не с телефона. На технике.

Арсений не ответил. Гречихин кивнул, будто получил ответ, и продолжил:

— Значит, не слушали. Зря. Штука красивая. Там, в этих нескольких секундах, всё видно. Психология человека, его выучка, его счастье или его отчаяние. Я всю жизнь работал со звуком, понял это в девяностые, когда цифровую запись — потому что она была «объективнее» — заменили на плёнку, а плёнку — обратно на цифру. И вы знаете, что происходит? Цифра лжёт дешевле. Плёнку подделать дорого. На цифру подделки — вот все эти ваши Носовы, все эти пары с красивыми кривыми, — наплевать. Им не жалко. А на плёнку — жалко. Аудитор. Слушайте.

Он сдвинул рычажок, и в гараже на два метра вырос звук.

Оргазм. Настоящий — без всякого сомнения: тот особый, тяжёлый, двухтактный ритм дыхания, на котором не спекулируешь. Женский голос, лет сорока, рвался на верхнюю ноту и уходил, гас, приходил. Арсений слушал, и у него поднималось странное, неловкое тепло — не возбуждение, нет, — а ощущение присутствия чужой жизни, чужого предельного, которое разворачивается в его ушах без разрешения и просьбы.

Запись оборвалась. Гречихин повернулся, и в его глазах было что-то тёплое, чуть лукавое, чуть жуткое.

— Слышите? — сказал он. — Вот эта вся правда. Четыре секунды, больше нет. Никакая система это не прочтёт лучше, чем вы. Потому что она не слушает — она считает. А вы слушали. Вы, аудитор, я вижу, слушали.

— Слушал, — признал Арсений. — И что вы хотите мне этим сказать?

— То, что я не торгую чужим счастьем, — сказал Гречихин просто. — Я торгую цифрой. Цифра — это не счастье, это протокол. Если Носовым нужна была цифра, они могли купить её у меня. И купили. Только я свои десять-двенадцать-тринадцать заработал не на цифре, — он кивнул на стеллажи, — а на плёнке. Потому что, знаете, сколько в этом городе людей, которым нужно быть счётчиками на бумаге? Много. Их много. А слушающих — единицы. Вы один из таких.

— Вы не торгуете чужим счастьем, — повторил Арсений ровно. — Вы торгуете биометрией третьих лиц, снятой без согласия носителя.

— С согласия, — поправил Гречихин. — Я не воровал. Люди продавали сами. Вы знали, что за запись живого оргазма с биометрическим следом платят до двух тысяч баллов? Запись идёт в зачёт чужого счётчика: женщина, у которой дети, продаёт одну-единственную ночь, в которой ей было хорошо, и получает полный месячный паёк. Вы это называете «третьими лицами»? Я не назову. Я назову экономикой.

Он говорил спокойно, без напора, и от этой спокойности Арсению было неуютнее, чем от крика. Гречихин не ломался и не боялся. Он держал на столе пульт от жизни — из тех, что старые, — и смотрел, как осьминог смотрит на осьминога.

— Вы закончили? — спросил Арсений.

— Я закончил, — согласился Гречихин. — У меня никогда не было ничего, кроме вашей совести. То есть вам нечего было у меня отнять. Приходите, когда захотите послушать. Народу у меня маловато, зато играю хорошо.

В двенадцать ночи Арсений вышел на снег, остановился под фонарём и открыл протокол. В графе «связи по следствию» поставил: Гречихин А. — профиль «рынок биометрических данных, продавец» — статус: документально не доказано, показаний не дал, не задерживать. Поставил точку. Точку он ставил всегда в конце рабочей строки — маленькая профессиональная привычка, которая ничего не значила и всё-таки была успокоительной, как узел на конце верёвки.

И только в машине, в 0:15, когда город вокруг был спокоен и сиял огнями вглубь, Арсений открыл на планшете центральную базу реестра и сделал то, что не делал уже давно, — не ради дела, а ради себя. Запросил серые поля.

РЕЕСТР. СЕКТОР N2. Доступ: НЕТ.

СЕКТОР E9. Доступ: НЕТ.

СЕКТОР B8. Доступ: НЕТ.

СЕКТОР Z. Данные отсутствуют.

Три строки отказа подряд — он видел такие сотни раз, у всех аудиторов, у всех сотрудников, и никогда не спрашивал, кто их получает. Отказы в доступе — это была не дверь, а стена, и стена в системе считалась нормальной: у каждого свой уровень, зачем ходить в чужое.

Но сектора — Z. Z1, Z2, Z3, — не было не только в отказе. Их не было вообще. Не «отказано», не «нет данных» — «данные отсутствуют». Это разные вещи. Отказ — это когда есть то, чего тебе не показывают. Отсутствие — это когда нет и не было, а те, кто писал строку, забыли позаботиться о том, чтобы она выглядела правдоподобно.

Арсений сидел в машине, в тишине, и смотрел на эти четыре строки. Снаружи мигал снег. В голове было холодно и чисто, как в операционной перед первым пациентом, — точь-в-точь как в описании, которое он однажды слышал от врача: стерильность — это не отсутствие жизни, а контроль за её присутствием. Система была стерильна. Система стерильна в самых важных своих местах — и это его не успокаивало.

Он закрыл планшет. Открыл снова. Ввёл запрос ещё раз.

СЕКТОР Z. Данные отсутствуют.

Он откинулся на сиденье и — впервые за годы — почувствовал в себе неуверенность: не «не знаю», а «не знаю, что не знаю». Это было почти приятно. Так бывает, когда человек, который всю жизнь играл по нотам, впервые слышит, что есть ещё страницы.

Звонок пришёл в 9:40 утра, когда Арсений стоял в фойе Управления с кофе, который здесь позволяли себе немногие: баллы у всех были на счету, кофе в автоматах стоил четыре, и он всегда брал с сахаром, потому что сахар был бесплатным.

Неизвестный номер. Он ответил.

— Вальк? — голос был спокойный, средне-тёплый, мужской, не молодой. — Эдуард Штерн, Центр социального тепла. Замдиректора. Доброе утро. Извините за ранний звонок, у меня день загружен.

— Доброе, — сказал Арсений. Он не знал Штерна лично, но знал фамилию: она стояла под тремя методичками и одной целевой программой, которую Арсений поставил в очередь на изучение. — Слушаю.

— Вы ведёте дело Носовых, — сказал Штерн. Не спросил — констатировал, как о погоде. — Мне нравится, как вы его ведёте. Чисто, аккуратно, без самодеятельности. Я позвонил поздравить. И ещё сказать пару слов — не как начальство, как коллега, который много лет в этой системе.

— Слушаю, — повторил Арсений.

— Сеть, которую вы подняли, — это хорошо. Прекрасно. Это работа, за которую вас отметят, и не зря. Но есть одно «но», которое вам, я думаю, важно знать раньше, чем вы его нащупаете сами. Сеть подделок — это симптом. Симптом — лечат врачи. А причину ищут эпидемиологи, и это не ваша работа и не моя работа. Причина — культурная. Люди в этом

городе перестали справляться со счастьем своими силами, и это большая задача, которую мы решаем на другом уровне. Так что не распыляйтесь. Носовых доведите — это будет красивое дело. Посредников — по мере сил. А то, что выше посредников, — не ваш и не мой уровень. Это уровень, где работают другие. Понимаете меня?

Голос был вежливый, мягкий, тёплый — голос человека, который искренне верил, что спасает страну, и который никогда не повысил бы на коллегу голос, потому что понимал бесполезность крика.

— Понимаю, — сказал Арсений.

— Отлично, — сказал Штерн. — Так и подумал. Вальк, кстати, у меня к вам вопрос попутный — не служебный, личный. Вы слышали, что в Центре открыли секцию «восстановительной просодии»? Школа для пар с низким Y3. Там, говорят, чудесные методики. Направляют, так сказать, пары, где есть речевая асимметрия. У вас в профиле, если я не ошибаюсь, тепло есть, но не хватает речевой теплоты. Стандартная история после тяжёлой медицинской. Это не упрёк, это, простите за грубое слово, оценка по данным. Может, вам стоит съездить на пробное занятие? Это не приказ, это совет. От человека, который видит, как вы работаете, и хочет, чтобы вы работали и дальше.

Штерн помолчал — вежливо, давая партнёру время осмыслить.

— Подумаю, — сказал Арсений.

— Подумайте, — согласился Штерн. — Это не ускорение и не давление. Это просто идея. Всего доброго, Вальк.

Он отключился первым — у людей такого уровня всегда была привычка первым отключаться.

Арсений стоял в фойе с кофе, который остыл, и обдумывал разговор. Звонок был странным. Он не был приказом — приказ был бы оформлен, подписан, заархивирован. Он не был предупреждением — предупреждение тоже документ. Это была вежливая, тёплая, почти доброжелательная речь, в которой каждое слово было сказано с той целью, чтобы Арсений ушёл от работы, за которую его пять минут назад поздравили, и пошёл в сторону школы просодии, к чужому делу, к личному «теплу».

Не распыляйтесь.

Арсений выпил остывший кофе — горький, безвкусный, до дна — и подумал, что он не распыляется. Он работает. Он поднял сеть, доведёт дело, найдёт того, кто снимает биометрию на продажу. И он, Вальк, аудитор, который верит данным, не идёт на чужие уроки речи, не слушает чужие советы и не распыляется.

А потом он вспомнил четыре строки на планшете — «данные отсутствуют», — и они всплыли в нём с такой лёгкостью, с какой всплывает только то, что давно хочет всплыть. Он не сказал себе «страшно». Он сказал себе: «неудобно». Неудобно — это то, что чувствуешь, когда идёшь в чистом костюме по грязному снегу. Тебе неприятно. Но идёшь.

Двери Управления открылись. Внутри пахло кофе, мокрым пальто и офисом — запахом самого честного из всех доступных человеку пространств: того, в котором всё записано.

Глава 7. Соня

Марта работала босиком.

Соня заметила это не сразу — сначала вообще ничего не заметила, только то, как у той движутся руки: они не делали упражнений, они ставили их, как ставят спектакль. А потом, уже к середине урока, когда все трое сидели на полу её приёмной, — Соня опустила взгляд и увидела: синхронистка босая. Ноги узкие, ступни с растянутыми, танцовщицкими подъёмами, на правом большом пальце — старая мозоль, жёлтая, как слоновая кость. Все клиенты переобуваются, а она — босая. Так ходят те, кому пол нужно чувствовать.

— Дыхание, — сказала Марта. — Начнём с дыхания, потому что всё остальное — следствие. Соня, положите руку себе под рёбра. Не на грудь — под рёбра. Дышите туда. Глеб — руку ей на спину, между лопаток. Вам сейчас нечего делать. Слушайте.

Глеб положил. Соня дышала — неловко сначала, как дышат в прокатном коньке: знаешь, как надо, а своё тело дышит по-другому. Через минуту она забыла про руку под рёбрами и вспомнила про руку Глеба. Она была тяжёлая и горячая, ладонь широкая, и дышать под ней стало почему-то легче, чем без неё. Она дышала в мужскую ладонь, как дышит стоящий на перроне поезд, — не думая, просто позволяя.

— Видите, — сказала Марта тихо. — Она уже не думает, как дышать. Она дышит в вас. Это и есть синхрония. Не поза и не темп. Это когда один человек становится поверхностью, о которую отскакивает дыхание другого, и оба целы.

Соня открыла глаза — не заметила, когда закрыла. Марта стояла перед ними на коленях, выпрямившись, прямая, как штырь, и смотрела не на лица — на корпуса. Она читала их так, как Соня читала рояли: не глазами — весом.

— Теперь темп, — сказала она. — Встаньте. Возьмитесь за руки. Не за руки — за запястья. Через запястье слышен пульс, это старый трюк, им пользуются и музыканты, и контрабандисты. Ходите по кругу. Медленно. Задача: найти один общий шаг.

Они пошли. У Сони шаг был короткий, у Глеба — длинный, рыбий, от долгих пеших обходов. Сначала они боролись, как борются два ведущих в паре: каждый подстраивался под другого неохотно, из вежливости, и вежливость эту было слышно. Потом Глеб сделал что-то простое и глупое: стал считать вслух. Раз-два-три-четыре. Низко, со своей хрипотцой, почти беззвучно. Соня засмеялась — они считали так на свадьбе, восемь лет назад, когда танцевали первый танец и Соня в шутку наступила ему на ногу, чтобы запомнить этот вечер навсегда. Он запомнил. Она забыла — а теперь вспомнила от его шёпота «три».

Шаг выровнялся сам. Не от счёта — от смеха.

— Хорошо, — сказала Марта. И помолчала. Соня краем глаза видела, как у той дрогнул уголок рта — не улыбка, а что-то до улыбки, и Марта это что-то убрала привычным движением, как убирают чёлку. — Дальше.

Дальше была работа.

Марта ставила их, как ставят в паре: подходила, подправляла локоть на два сантиметра, наклоняла Сонину голову — вот так, — переносила Глебову руку — сюда. Прикосновения её были профессиональные и точные, без лишнего веса, как у реаниматолога: тело — объект, тело — инструмент. И всё же от каждого её касания у Сони что-то проваливалось в живот — не ревность даже, ревность была бы честнее, — а что-то вроде зависти к языку. Марта говорила руками то, что Соня умела только чувствовать и не умела назвать.

Пол в зале у Марты был тёплый. Соня заметила это ещё в прихожей, когда сняла сапоги: ступни отогревались прямо сквозь шерстяные носки. Дома так не отогревалось с октября. За такой пол можно многое простить, подумала она. И тут же поняла, что именно за это Марте и платят.

Носки Марта попросила снять. Потом халат.

— Повесьте на спинку стула. Не торопитесь.

Соня и не торопилась. Под халатом было чёрное бельё без косточек, купленное позавчера специально к уроку. Списали за него больше, чем она тратила на еду за неделю. «Для практик берут именно такое, на датчики ничего не давит», — сказала продавщица, и Соня кивнула, будто знала. Теперь она стояла в этом белье перед зеркалом во всю стену и видела в нём троих: себя, Глеба в одних тренировочных штанах и чуть позади Марту в графитовом трикотаже, с планшетом у груди. Как на выпускной фотографии, где кто-то попал в кадр случайно. Только непонятно было, кто здесь случайный.

На экране над зеркалом бежали две кривые, её голубая и его оранжевая. Пока они шли каждая сама по себе, как двое по разным сторонам улицы.

«Сеанс: практика. Наблюдатель: М. Ясенева. Запись согласована»

— Третье занятие, — сказала Марта. — Сегодня просто слушаем друг друга. Я считаю, вы дышите. Глеб, садитесь. Соня, к нему.

Глеб сел на тёплый пол. Соня села к нему на колени лицом к лицу, как Марта показывала в прошлый раз, колени по обе стороны от его бёдер. Он положил ладони ей на спину, куда пришлось.

Марта присела рядом на корточки, босая. Соня увидела у неё на колене белый шрам, неровный, как шов на старом чехле. Марта взяла Глеба за запястье, переставила его руку ниже, на поясницу, и повернула пальцами вниз.

— Вот сюда. Не держите, а слушайте. Угол чуть больше. Так.

Голос у неё был ровный, тренерский. Так ставят пару на паркете: локоть, плечо, вес на левую ногу. Ладонь мужа легла точно и правильно, и в этой правильности Соня почувствовала что-то чужое. Восемь лет он клал руку как попало, и она узнавала его именно по этому «как попало».

«Тактильный контакт: установлен. Корректор: внешний»

— Вдох вместе, — сказала Марта. — Два, три, четыре. Выдох. Два, три, четыре, пять, шесть.

Они дышали. Дальше всё пошло почти буднично, как упражнение. Бельё с неё Глеб снял не сам: Марта сказала «теперь можно», и тогда он снял. Соня опустилась на него медленно, на шесть счётов, как было велено, и где-то на четвёртом поймала себя на том, что считает уже сама, про себя.

Тело у Глеба было горячее и знакомое, она знала на нём каждую родинку. Но звучало оно не так.

Пятнадцать лет Соня слушала дерево и сталь, и уши у неё были приучены к одному: находить в чистом звуке грязь. Бывают струны с ложным обертоном. Ударишь, и нота вроде бы верная, а внутри подвывает ещё одна, чужая, которой там быть не должно. Её не слышит никто, кроме настройщика. Даже сам рояль её не слышит.

У Глеба был ложный обертон. Он двигался в ней, дышал ей в ключицу, держал руку ровно там, где её поставили, и всё это было не под Соню, а под счёт. Вела его не она. Его вёл голос из-за её плеча.

— Сейчас ведёт она, — сказала Марта. — Глеб, отдайте.

И он отдал. Сразу и послушно, как будто давно ждал этой команды. На её, Сонины, просьбы он так не откликался никогда.

«Взаимность: 0,58. Стабильно»

Марта поднялась, обошла их, присела с другой стороны и двумя пальцами тронула его локоть: «Плечо ниже». Соня смотрела на экран поверх его плеча. Оранжевая кривая дёрнулась вверх: 84, 97, 103. Когда Марта отступила на шаг, кривая медленно сползла обратно.

Показалось, решила Соня.

Марта подошла снова, наклонилась и поправила уже Сонину руку на его плече. Пахнуло чем-то сухим, вроде нагретой бумаги. 88, 101, 106.

Не показалось.

Соня посмотрела в зеркало. Марта стояла у Глеба за спиной и смотрела на планшет, на экран, на Сонины лопатки, куда угодно, только не на его лицо. На клиента так не смотрят. Так обходят взглядом то, на что смотреть нельзя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.